

*По отношению каждого человека к своему языку  
можно совершенно точно судить не только о его  
культурном уровне, но и о его гражданской ценности...*  
Паустовский

Весной 2022 года ангелы света не смогли предотвратить бойню между славянами в Донбассе и на Украине. Перед этим, в 2021-м, сцепились Армения и Азербайджан, едва не началась гражданская война в Белоруссии, Казахстане, в апреле 2022-го наметился пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном. Территория бывшего СССР на глазах превращалась в зону боевых действий, — кому-то это было необходимо и выгодно. Политики говорили, что мировое глубинное государство в этот раз не оставило России выбора, кроме как воевать.

В конце марта и начале апреля Донбасс и центральную часть России накрывали волны похолоданий, днём земля слегка оттаивала, ночью её снова сковывали морозы. Одни говорили, это требуется для войны, чтобы танки и бойцы не увязали в грязи, на холоде подольше не появится «зелёнка» лесов и балок. Другие предполагали чьё-то давление на мировой продовольственный рынок. Крупнейшие российские аналитики утверждали: deep stait, глубинное государство, живой прививкой «омикрона», только что почти прекратившее в европейских странах не вполне удавшийся проект «Пандемия», решило перейти к проектам «Война» и «Голод». Планировался мировой продовольственный кризис, ведь голод сокращает население бедных стран гораздо надёжнее вируса. Но забеспокоились и богатые страны — в Германии опустели полки продуктовых магазинов, и даже в Англии население принялось делать запасы «на всякий случай». Всем было понятно: Украина и Россия в ближайшем будущем не смогут вырастить пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою в прежних объёмах из-за войны и аномальной погоды. Я предполагал холодные и дождливые апрель, май в скором будущем.

В те дни мне хотелось молиться за погибающих под бомбёжками и обстрелами, а не трудиться в писательской келье. В Мариуполе и Марьинке пытали пленных, российского солдата перед камерами убили ножом в глаз, тысячи мирных жителей сидели голодные в холодных подвалах бомбоубежищ. Миллионы людей вынужденно бежали из родных мест. Мариуполь, Харьков, Донецк разрушали артиллерийскими, ракетными обстрелами, в одном только Мариуполе погибло 6 000 мирных жителей. Сын моего друга, умный, красивый, талантливый парень, студент Литинститута, убитый снайпером, остался лежать рядом с заводом «Азовсталь» на простреливаемой с двух сторон территории. Я ходил в чёрной одежде, отменил выступления и презентации, отложил выход альманаха. Невозможность прекратить войну, отпеть, похоронить этого мальчика и ещё тысячи погибших с той и другой стороны давила и плющила.

Тонка плёнка цивилизации на человеке. Осатанело гремела пропаганда с обеих сторон, ненависть русских и украинцев друг к другу всё нарастала, демоны войны могли торжествовать. Узнавая новости в интернете, я старался поскорее выключить планшет, заняться чем-либо на улице: колот на дорожках грязный лёд, выносил из чулана старую одежду. Возле мусорных баков на гряде кем-то выброшенных вещей обнаружил старые книги, одна из них оказалась «Золотой розой» Константина Паустовского. Моё сердце сжалось от боли. Я принёс «Золотую розу» домой, тщательно протёр обложку спиртом, поставил томик на полку рядом с прежде спасёнными на помойке книгами. Здесь теснились Цвейг, Чехов, Тургенев, Достоевский... Паустовского я тоже не мог оставить в мусорной куче, слишком многое в судьбе с ним было связано.

...В 1982 году я учился на первом и втором курсе медицинского института, одновременно практикуясь в литературе. Думал, с упавшим сердцем, что писателем стать вряд ли получится, но цеплялся внутренне за теплящуюся надежду, говорил себе, что врачу литература полезна. Собирался работать с душой человека, посещал кружок психиатрии, читал книги по психологии, пробовал на родственниках гипноз, внушение, терапию творчеством. Писательские опыты начались у меня гораздо ранее медицинских, почему нужно было их бросить? Излишняя специализация делает человека слишком узким, ограниченным. Я, например, и сейчас опасаясь лечиться у врача, который не читал после школы Толстого и Достоевского. О чём с таким человеком вообще говорить? Меня вдохновлял пример «врачеписателей», не упавших с двух стульев — Монтеня, Рабле, Вересаева, Чехова, Булгакова... Врачебная специальность, при должной организации, оставляет время на занятия литературой. Об этом не все любят говорить, но у Чехова в Москве и Мелихово была изрядная медицинская практика. Булгаков, работая над «Записками врача», лечил больных в Вязьме, одно время даже заведовал там инфекционным и венерологическим отделением городской больницы. Позже он лечил сифилис новомодным сальварсаном в киевском кабинете на Андреевском спуске, дом № 13. Я понимал, конечно, что у меня не получится как у них, но пытался работать на своём уровне.

Отсидев на лекциях по анатомии, физиологии, биохимии, а иногда и сбежав с них, я укрывался в областной библиотеке Рязани, делал выписки из книг, которые в то время можно было найти лишь в читальном зале: Бунин, Пастернак, Вознесенский, Цветаева... Ещё мне нравилось шерстить книжные магазины областного центра, там я покупал классику и книги по теории литературы — Шенгели, Флобер, Горький, Вячеслав Иванов... Иногда я пытался писать что-то своё, выходило слабо, но меня опьянял сам язык, работа с ритмикой, энергетикой фразы. Есть в этом что-то магическое: меняешь одно слово — и фраза начинает переливаться новыми смыслами. Каким-то образом набор слов вдруг становится самостоятельной ценностью, фраза отвердевает, как цемент, отлитый в форму, собираясь остаться в вечности. Это удивительные ощущения, трудно объяснимые непосвящённому.

Изрядная часть моей родительской «стипендии» уходила на покупку в «Букинисте» собраний сочинений Толстого, Чехова, Шукшина, Ремарка, Цвейга, Томаса Манна, Горького... Тогда не было электронных книг и Википедии, а в читальном зале долго не высидишь. После очередного приобретения мне приходилось надолго становиться завсегдатаем «Диет-столовой» — там в советское время можно было за копейки взять стакан сметаны и кусок хлеба. К сметане прилагался бесплатный сахар. На полдня этого вполне хватало, о покупке одежды я не хотел думать. Родители не знали, на что тратятся их деньги, в результате моя библиотека стремительно росла. Книжки я размещал в общежитии под кроватью и на развешенных в комнате полках. Мои соседи-однокурсники Пулин, Свойкин и Зеленин (один из них староста курса, второй — комсорг) нерв-

ничали, говорили, что я зря пошёл в медицинский, надо было в литературный. Я мычал в ответ что-то невнятное, стараясь избегать детально-го обсуждения моих пристрастий, — у каждого своя правда. Занятия литературой мне иногда приходилось скрывать, чтобы не исключили из института.

Мне остро не хватало писательской среды, но почему-то и в голову не приходило связаться с кем-то из местных литераторов. Казалось, любой писатель — мыслитель, художник, матёрый человечище, небожитель! А я кто такой? Так... студентик, недоразвитое, скучное и внеисторическое существо. Как-то мне попалась в магазине книжечка рязанской поэтессы Нины Красновой, стихи понравились, но я постеснялся её искать, гораздо позже мы познакомились с Ниной в редакции «Нашей улицы» в Москве у писателя Юрия Кувалдина.

Поговорить о литературе тогда мне было решительно не с кем, я то-сковал, пока не обнаружил, что одна из девушек нашего курса хорошо в ней разбирается. Я, наверное, влюбился бы в эту девушку, окажись она менее странной. Высокая, худая, она носила плащ на два размера больше, как у певицы Зиверт в начале карьеры, вместо туфель осенью надевала большие резиновые сапоги. Мы иногда судачили о литературе в троллейбусе, добираясь на очередной семинар или коллоквиум в областную больницу на окраину города. Обсуждали тогдашние толстые журналы, советскую литературу — Булгакова, Казакова, Нагибина, Шукшина... Однажды моя собеседница упомянула свою 80-летнюю бабушку-дворянку с более чем полувековым стажем чтения. Эта бабушка утверждала, что лучше Паустовского из советских никто не писал. Я порылся в памяти, вспомнил рассказы «Кот ворюга» и «Растрёпаный воробей» из школьного курса, пожал плечами.

Уже на другой день в «Букинисте» нашёл бежевое собрание сочинений Паустовского 1967 года выпуска — последнее прижизненное издание классика, открыл предисловие, которое он успел написать для первого тома. На размещённой рядом фотографии на меня смотрел пожилой человек явно нерусской внешности, — я предположил еврея или грека, на самом деле в нём была намешана русская, украинская, турецкая и польская кровь. Очки с большими диоптриями, усталые глаза, седые виски, большой нос, глубокие морщины курильщика. Гораздо позже узнал, что дед писателя по отцу, служа в армии, попал в турецкий плен и привёз оттуда жёну-турчанку Фатиму, принявшую в России крещение. А бабушка писателя по матери, жившая в Черкассах, была полячкой, католичкой. Она брала с собой Костю в паломнические поездки — Варшава, Краков, Ченстохов...

Предисловие мне многое объяснило: *«Желание необыкновенного преследовало меня с детства. В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой мальчишеского воображения. Ветер этот приносил запахи тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы...»* И тут же более позднее художественное кредо: *«Я ушёл от экзотики, но я не ушёл от романтики, и никогда от неё не уйду — от очистительного её огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного её непокая. Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от неё в нашей борьбе за будущее...»*

«Только зачем он оправдывается? — думал я. — Часто заставляли отказаться от романтики, требовали писать о рабочем классе, сталеварах, доярках?» Позже узнал: да, критиковали за романтичность, особенно в первой половине творческого пути. Ругали за сочувственное предисловие к одному из сборников Александра Грина («Алые паруса» Грина в юности потрясли его). Героев самого Паустовского называли мечтателями, романтиками, не понимая, что «романтикой дорог и окраин» во

многим питался энтузиазм советских людей, работающих на русских северах и на Дальнем Востоке.

Тогда я многое не понимал, просто вчитывался в текст, стараясь почувствовать — есть ли тут что-то для души и сердца? Произведения первых двух томов, за исключением вспышек стиля, отличали только поразительная доброта и душевная неповрежденность автора. Похож на Грина, которого он в своих начальных текстах описывает как писателя Гарта и которому подражает. Отвердение руки заметно в «Кара-Бугазе». Мои сомнения рассеялись, когда я добрался до третьего тома, — в него вошла «Золотая роза», написанная уже пожилым Паустовским. Я был поражён и взволнован, в повести содержались ответы почти на все вопросы, которые я в то время искал. Это и сейчас нужно знать каждому пишущему:

*«Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель».*

*«Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство».*

*«Главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи... и тем самым выразить своё время и свой народ».*

*«Во время работы надо забыть обо всём и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете. Творческий процесс в самом своём течении приобретает новые качества... Сознание остаётся неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал».*

И одна цитата из «Кара-Бугаза»:

*«Факт, поданный с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт... вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол».*

В следующих томах для меня, на время забывшего о медицине, потерянню стоящего с раскрытой книгой в «Букинисте», хотя уже давно шла лекция по анатомии, начались художественные откровения: *«В Мецёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха... Что можно увидеть в Мецёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поёмные и лесные озера, заросшие чёрной кугой, стога, пахнувшие сухим и тёплым сеном... Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в неё и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами...»*

Для меня это были не пустые слова. Часть лета между первым и вторым курсом я прожил в студенческом лагере в Солотче. Там у меня случилась первая любовь, и мы с моей девушкой — при всей своей легкомысленной миловидности она знала наизусть некоторые строки из «Маленьких трагедий» Пушкина, читала Толстого, Куприна, Ремарка, Хэмингуэя — подолгу бродили по этим самым лугам. Сидели в стогах сена, глядели на звёзды, целовались, вечером танцевали в лагерьной столовой под музыку групп «Карнавал» и «Воскресенье»... Солотча, Мещёра навсегда стали для меня местом первой любви, взросления, предчувствия будущего. А покупка собрания сочинений Паустовского, 6 рублей 40 копеек за том, многое определила в моей жизни.

Случайно или нет, но после я часто бывал в отмеченных доктором Паустом, как величали писателя его друзья, городах и сёлах. Доктором Паустом и я называл Константина Георгиевича про себя, подозревая, что знал он гораздо больше, чем рассказывал. Он был хорошим психологом и настоящим волшебником, чародеем русского языка. Солотча,

Владимир, Киев, Рига, Севастополь, Старый Крым, Париж, Стамбул... Его тексты и города сидели у меня в подсознании, я действовал порой неосознанно, и всё же неспроста уехал работать по распределению не куда-нибудь, а под Владимир, на северную окраину Мещёры. Доктор Пауст часто бывал там: *«Впервые я попал в Мещёрский край с севера, из Владимира... Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище „мерин“... На закруглениях он кряхтел и останавливался... Узкоколейка в Мещёрских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе. Станции завалены смолистыми брёвнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами...»* (1939) Его блестящие рассказы «Кот-ворюга», «Барсучий нос», «Сивый мерин», «Снег» написаны именно там, во Владимирской области.

Из маленькой квартирki под Владимиром я ездил со своей молодой женой в Ригу (там у меня жили родственники). Дело в том, что Дубулы доктор Пауст освоил ещё в 1956-м, после он иногда жил в двухэтажных особнячках Литфонда в большом парке среди песчаных дюн у Балтийского моря. Большая часть домиков заселялась только летом, осенью и весной там было удобно работать в уединении. Паустовский бродил по старой Риге, заходил в католические соборы — после киевской гимназии он хорошо помнил латынь, понимал многие слова католических молитв. Он слушал орган, пил кофе в маленьких уютных кафе, споря со спутниками на тему «Почему христианство не сделало людей безгрешными?»

— Откуда вы знаете, какими были бы люди, если бы не это? — хмурился Паустовский.

Если собеседник сомневался в очищающей силе веры или искусства, Паустовский сорился с таким человеком. Его родители и бабушка были верующими людьми, отец — «из мещан Киевской губернии Васильковского уезда, Георгий Максимович... и законная жена его Мария Григорьевна, оба православные люди...» (из записи в метрической книге московской церкви святого Георгия на Всполье, где крещён Паустовский, — его семья жила тогда в Гранатном переулке Москвы).

Рига во времена СССР была городом особенным. Советская интеллигенция считала Ригу, и вообще Прибалтику, слегка отретушированной за границей, на улицах там открыто стояли проститутки, обычный прохожий мог внезапно заговорить с вами о европейской культуре, даже в обычном рижском кафе царил атмосфера приватности и свободы. Кроме того, в Риге, Вильнюсе, Таллине интеллектуальная жизнь была заметно ярче, сложнее, нежели в тульской или владимирской глубинке. Духовная расщеплённость Прибалтики, её уязвлённая подлинность казались мне любопытными. Наведываясь с женой в Ригу, мы общались с латышами — в них тогда не было холодной отстранённости, как у эстонцев. Мы ездили в латышские Юрмалу и Сигулду, в эстонские Таллинн и Тарту.

Именно в Тарту с 1950 года преподавал один из крупнейших советских культурологов Юрий Лотман. В конце 1980-х он был широко известен в СССР благодаря телевизионным «Беседам о русской культуре», в которых вдохновенно говорил о русской истории, дворянстве, интеллигенции. Обладая колоссальным объёмом знаний, Лотман формулировал свои постулаты ёмко и кратко. Многие из сказанного тогда Юрмихом, так мы его именовали вслед за тартусскими студентами, и сейчас актуально. Мне нравились его мысли о том, что культура — это человеческая борьба с энтропией. Что знаки культуры зашифрованы и понятны лишь в границах своего «культурного ареала». Что трюизм и банальность, в которые на тот момент превратилась советская идеология, неинформативны и потому разрушительны, они как кость, застрявшая в горле. Что русская интеллигенция — прежде всего люди книги, мысли, пера. Что главное качество интеллигенции — уметь говорить: «Это стыдно». Вот бы сейчас повторить по телевидению выдержки из его лекций...

В то время многие из нас пытались заново понять, осмыслить, что такое интеллигенция. Ленинские определения — «классовая прослойка», «не мозг, а говно нации» — казались спорными. Я думал о том, что латинское значение слова интеллигенция — «понимание, рассудок, познавательная сила». Что она, отчасти — «сознание и самосознание божественного разума» (Бозций). Что это «высший образованный слой общества в последней трети XVIII и в XIX веке» (Боборыкин). Отмечал у Мережковского: «Сила русской интеллигенции... не в уме, а в сердце и совести». Ленин и Даль же сводили понятие интеллигенции только к занятию умственным трудом, но для России это не совсем верно. Конечно, в Британской энциклопедии именно статья «Интеллектуал» имеет подраздел «Русский интеллигент», но Бердяев правильно говорил, что к русской интеллигенции «могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интеллектуальные». Здесь другое главное — совесть, порядочность, принципы. И ещё, мне кажется, интеллигентность в России теснее, чем в других странах, соотносится с литературой. Антон Павлович Чехов в своих письмах и рассказах часто искал ответы на эти вопросы. Он говорил, что русская интеллигентность связана даже не с образованностью, а с внутренней чистотой, достоинством, сдержанностью, тактом, уважением к собеседнику. Увы, сейчас такая интеллигентность в России почти уничтожена и продолжает искореняться, её загоняют в резервации нищеты, маргинальности. Добрым, предупредительным быть во многих сферах современной жизни невыгодно.

После Риги у меня была «эпоха Киева». Раньше это был фантастический город, союзный центр православия и культуры с богатыми литературными традициями. Паустовский прожил здесь в общей сложности 20 лет. Он вообще любил Украину, говорил в одном из книжных предисловий: *«Мне в общем-то повезло. Я вырос на Украине. Её лиризму я благодарен многими сторонами своей прозы...»* (предисловие к украинской книге «Золота троянда», 1957). Усадьба его деда находилась в Белой Церкви. Это была интеллигентная семья, здесь музицировали, боготворили театр, правда братья Паустовского, особенно старший, не поддерживали его увлечения литературой. Всё же молодой Паустовский ежедневно читал и писал, напрочь испортив себе зрение. Впоследствии это спасло ему жизнь: на фронт Первой мировой его не отправили из-за сильной близорукости, а оба брата погибли на фронте в один год.

Киев прошлого тесно связан с людьми русской культуры. Здесь в разное время жили Тарас Шевченко, Гоголь, Лесков, Гиппиус, Куприн, Ахматова, Бунин, Мандельштам, Булгаков, Эренбург, Шкловский, Вертинский, Рахманинов...

Не только Паустовский, но и Булгаков, и прикровенная, удивительная Киево-Печерская лавра были причиной того, что я ездил в Киев: в ближних и дальних пещерах искал мощи Ильи Муромца и Антония Печерского, на Андреевском спуске посетил дом № 13, квартиру № 2. Михаил Афанасьевич прожил в этой квартире несколько лет с 1907 года, именно этот дом и квартира описаны в «Белой гвардии», «Днях Турбиных», здесь находился его рабочий врачебный кабинет. Паустовский не был киевлянином по рождению, но весь гимназический курс прошёл в Киеве. В Первой киевской гимназии почти одновременно с ним учились Булгаков, Вертинский, Рахманинов... Здесь Паустовский начал писать, поступив на историко-филологический факультет в Киевский университет. Всё изменила Первая мировая война. Паустовский переехал в Москву, поближе к матери, сестре и одному из братьев, ещё не ушедшему на фронт. Константин стал работать санитаром в тыловом санитарном поезде, а осенью 1915 года поступил *«в полевой санитарный отряд и прошёл с ним... от Люблина в Польшу до городка Несвиж в Белоруссии»*.

Ещё в санитарном поезде он познакомился с девушкой-медсестрой Екатериной Загорской, ставшей в 1916 году его первой женой. Вен-

чались они в храме возле рязанских Луховиц, где до рождения дочери служил священником её отец, которого она никогда не видела...

После гибели братьев потрясенный Паустовский вернулся в Москву, но затем стал кочевать по городам — Брянск, Таганрог (тут он работал на котельном заводе и в рыбачьей артели на Азовском море), снова Москва, Киев — сюда он добирался поездами целый месяц, рискуя жизнью. В декабре 1918 года Паустовского призвали в украинскую армию гетмана Скоропадского, затем в караульный полк Красной армии, набранный из махновцев. Вскоре полк расформировали, потому что махновцы убили красного командира. Паустовский сбежал из беспокойного Киева, переехал в Одессу. Два года работал в одесских газетах «Станок» и «Моряк», подружился с Ильфом, Бабелем, Багрицким, Славиным. После у него был Крым, Кавказ — он успел недолго пожить в Сухуми, Батуми, Тбилиси, Ереване, Баку... С 1923 вновь вернулся в Москву, но постоянно жить ему здесь было тяжело, он часто выезжал из столицы в творческие командировки, писал и рыбачил в Солотче под Рязанью, в Мещёрских лесах. Он был прирождённым рыболовом, его считали вторым среди писателей после Аксакова авторитетом в рыбной ловле.

Повесть «Кара-Бугаз» Паустовский дописал в Ливнах летом 1931 года. После её публикации он стал профессиональным писателем.

Во время Великой Отечественной войны доктор Пауст полтора месяца работал на фронте журналистом, затем был отозван Комитетом по делам искусств для творческой работы и эвакуирован в Алма-Ату, потом в Барнаул. В 1950-х временами жил в Москве, но чаще прятался от суеты в различных домах творчества и Солотче, где у его друга Рувима Фраермана был дом.

Но Паустовского доставали мещёрские комары, действительно самые злые из тех, которых я видел. И вторая жена писателя, Валерия Навашина, купила ему поддома в Тарусе, где тоже есть река, тишина и сосны, а комаров гораздо меньше. Но подолгу находиться в Тарусе, Малеевке, Ялте, Дубултах Паустовскому не давали болезни, творческие поездки, преподавательская работа: он 10 лет вёл семинар прозы в Литературном институте. Среди его учеников были Владимир Тендряков, Инна Гофф, Григорий Бакланов, Юрий Бондарев, Юрий Трифонов, Иван Пантелеев... Юрий Казаков не учился у Паустовского в Литинституте, но признавал творческое влияние классика, они много общались. По словам Казакова, «Паустовский-человек удивительно соотвечествовал Паустовскому-писателю. Бывают, и не так уж редко, прекрасные писатели и плохие люди... Паустовский же был хороший человек, с ним было хорошо...» Не менее лестные характеристики давали доктору Паусту и другие его ученики. Я делал выписки из воспоминаний его бывших студентов, запомнив навсегда, что говорил Паустовский:

*«Гораздо больше времени у меня уходит на правку вещи, чем на её написание. Правка — это великолепная и увлекательная работа, доставляющая огромное наслаждение».*

*«Творчество писателя — абсолютно интимное дело. Оно требует полного одиночества. Перед тем, как сесть за работу, надо собрать все силы души, надо перестать стесняться самого себя. Индивидуальные особенности мышления, самовыражения при упорном труде становятся достоинствами. Когда пишешь, внутри себя надо открыть все иллюзы, перестать стесняться, сдерживать самого себя...»*

*«Прежде всего писателю нужна память. Память — это основа писательства. Память надо тренировать».*

*«Писательская биография — великое дело. Если её нет, её надо создавать. Насыщать свою жизнь впечатлениями и событиями. Ведь автор пишет о том, что он знает, что он видел, пережил».*

*«Автор должен любить своих героев, но не должен ими открыто восхищаться. Такой автор мешает читать книгу».*

*«Писатель, который пишет о молодёжи, должен быть молодым. О первой любви нельзя писать под бременем годов. Бунин? Бунин — гений, а гению можно всё».*

*«Чтобы хорошо писать, надо иметь детский взгляд, видеть всё так, как будто видишь в первый раз. Горе для писателя, если окружающий мир становится для него привычным и глаза его потухают... это конец писательства».*

*«Тот не писатель, кто не прибавит к зрению человека хотя бы немного зоркости».*

*«Писатель — не фотограф, и принцип натуралистического изображения действительности не обязателен, мне это вообще не кажется подлинным искусством...»*

*«Скрытым смыслом надо учиться на примере Хемингуэя. Сюжета нет, всё дело в том, о чём герой вспоминает, что он думает и что чувствует, находясь в одиночестве...»*

*На семинарах он поругивал студентов, которые начинали критиковать друг друга слишком уничижительно. По словам Тендрякова, он прерывал таких критиканов, говорил, что «нет ничего более важного и значительного, чем человеческое достоинство... Преступно не помнить, что любой и каждый... способен так же страдать, как ты сам... Тот, кто не согласен со мной, пусть выйдет сейчас же и никогда больше не переступает порог семинара!»*

*В этом он близок Чехову, который сочувствовал заключённым, провёл на Сахалине несколько месяцев, сильно укоротив этим свою жизнь. Чехов «по капле выдавливал из себя раба» и призывал других делать то же самое. Ещё Паустовский ценил Стендаля, часто повторял его слова: «Чтобы быть писателем, надо почти столько же мужества, как и для того, чтобы быть солдатом». Это следует помнить всем начинающим, ведь многие гибнут на писательском пути — надорвавшись, отчаявшись, не дождаввшись признания...*

*Семинары для своих студентов Паустовский проводил не только в здании Литинститута, но и иногда в своей квартире в Лаврушинском переулке (там он жил со второй женой), в квартире на Котельнической набережной (получил её с третьей женой, Татьяной Алексеевной Евтеевой-Арбузовой), позже в Тарусе...*

*У меня же, во многом благодаря Паустовскому, после Прибалтики, Солотчи, Рязани, Владимира, Риги, Киева в 1992 году начался крымский период. До этого я иногда бывал в Жигулёвских горах на Волге (там жили родители жены) и в Калининграде, где выросли мои отец и мать и до поры сохранялся родительский домик отца. Навещал изредка Ригу и Питер, но в голове у меня занозой сидели слова Паустовского из его «Воспоминаний о Крыме»: «Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественные разворот его берегов от мыса Фиолент до Карадага. Впервые я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из самых праздничных морей земного шара... Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает всё наше существо на необыкновенное простое и плодотворное лирическое звучание. Таков Крым... И каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после расставания с ним сожаление и лёгкую печаль, какую вызывают воспоминания о детстве, и надежду ещё раз увидеть эту „полуденную землю“».*

*В 1992 году я впервые купил билеты на поезд «Москва — Симферополь», потратив на плацкарт для себя, жены и дочери все отпускные. Денег не осталось даже на постельное бельё, вагонными матрацами пользоваться нам не разрешили. Поезд шёл через Харьков, Мерепу, Лозовую, Запорожье, Мелитополь. Положив голову на старый рюкзак, я смотрел на освещённые южным солнцем белые украинские мазанки, пирамидальные тополя, акации, абрикосовые деревья вдоль дорог, не подозре-*



вая, что спустя 30 лет всё это будет выжигаться «Искандерами», «Градами»... Две недели мы купались в море, питаясь взятым из дома сухим пайком и придорожными абрикосами, ночевали в старой брезентовой палатке (однажды ушли на экскурсию и тёплые вещи из палатки унесли бомжи), но были счастливы, перемещаясь из Судака в Алушту, Гурзуф и Ялту. Севастополь, Балаклаву, Феодосию, Бахчисарай, Старый Крым, Коктебель и Евпаторию я узнал позже. Крым и Чёрное море ошеломили меня. Сам тамошний воздух, горы и море, кажется, делают человека художником, если у него есть хоть небольшие способности к этому.

В середине 1950-х к Паустовскому пришло мировое признание, он 4 раза номинировался на Нобелевскую премию — в 1965, 1966, 1967, 1968 годах, но так и не получил её. Немецкий славист Вольфганг Казак объяснил это так: *«Внутреннее решение о присуждении ему Нобелевской премии не воплотилось в жизнь по политическим причинам...»* Одной из таких причин стал анализ творчества Паустовского литературным критиком Местертоном: *«В современной русской литературе Паустовский, бесспорно, занимает выдающееся место. Но он не является большим писателем, насколько я понимаю...»* Критику и его покровителям хотелось, наверное, чтобы Паустовский копался в подвалах человеческой души, как Достоевский, Мопассан, Бодлер, Гейне, Селин, Камю, Замятин, Оруэлл... Или описывал ужасы Гражданской войны в России с натуралистичностью Шолохова, Бабеля, Платонова... Или критиковал сталинизм, как Ахматова, Пастернак, Солженицын, Шаламов... Но у Паустовского была другая мелодия творчества, другая организация души. Он видел, избирал мир в более светлых тонах, оставаясь в душе романтиком. Была ли в этом примесь конформизма? Может быть, но Марлен Дитрих, любимая женщина Ремарка, говорила о докторе Паусте так: *«Он — лучший из тех русских писателей, кого я знаю...»* И недаром Бунин после прочтения рассказа «Корчма на Брагинской» прислал ему открытку: *«Дорогой брат! Я прочел Ваш рассказ... и хочу Вам сказать о той редкой радости, которую испытал я... Он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы...»*

Честно говоря, одно время мне всё же казалось, что Паустовский грешит уходом от острых тем, но позже я узнал — перу Паустовского принадлежит повесть «Двадцатый год», где он откровенно рассказывает о кровавых репрессиях Бела Куна и Землячки в Крыму после разгрома Врангеля. Кроме того, я понял с возрастом, что не каждый писатель призван сражаться на политических баррикадах. Кто-то должен решать художественные, языковые задачи своего народа. Паустовский делал это лучше многих. А ещё он был идеальным воспитателем литературной молодёжи. Доктор Пауст не только прекрасно знал жизнь России, в том числе досоветского периода, изъездив, исходив родину вдоль и поперек, но и всю жизнь тянулся к европейской культуре, без знания которой творчество любого российского писателя грозит стать одномерным, ведь европейские и византийские корни нашей культуры отрицать невозможно.

Паустовский с юности романтизировал дорогу, ему и в зрелости, учитывая склад таланта, требовалось много ездить. Он распространил со временем эту дорожную страсть на европейские города. С приходом к власти Хрущёва возможностей побывать в Европе у советских людей стало больше. В январе 1956 года Паустовский отправился на лечение в Карловы Вары. Когда же, в сентябре 1956-го, в СССР началась эра массового туризма, доктор Пауст оказался в первых рядах выезжающих. В СССР тогда организовали рейсы теплохода «Победа» вокруг Европы, среди туристов было много писателей.

5 сентября 1956 года Паустовский тоже стоял на палубе «Победы» с томиком Бунина в руках. При входе «Победы» в Босфор Паустовский читал окружающим вслух очерк своего учителя «Храм Солнца». (Думаю,

его главными учителями были Бунин и Чехов). *«В год его (Чехова) смерти мне было двенадцать лет. Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвернулся и ушёл, чтобы пережить в одиночестве своё непоправимое, безнадежное горе»* («Ильинский омут».) После Стамбула, который впечатлил Паустовского до слёз — *«Стамбул оглушительен, Айя-София потрясает до слёз»,* — корабль двинулся дальше. *«Сквозь туман идут и идут древние, великие острова из розового известняка, серебряные от масличных роц — Лемнос, Милос, Лесбос, Санторин»,* — писал Паустовский домашним. Российским туристам выпало тогда три дня Италии, затем три — Франции. Теплоход стоял в порту Гавра, в Париж ехали поездом, увидеть Париж готовились торжественно, почти как Землю Обетованную... Затем туристы посетили Голландию, Стокгольм и возвратились в Россию через Ленинград.

Большинство последующих перемещений Паустовского тоже оказались связаны с Европой, если не считать Дубулты, Ялты и Севастополя. Паустовский побывал в Польше, осенью 1959 года в Болгарии, в июле 1961-го в Италии (Турин): *«Живу за городом, в предгорьях Альп, в монастырской гостинице Эremo...»*. Тяжёлая болезнь отняла у него почти весь 1962 год, привязав к больницам и санаториям, но в конце года Паустовский уехал с женой в Париж, был на могиле Бунина, вернулся 31 декабря, а в марте 1963-го отправился в Севастополь. Поселился там в одноимённой гостинице, затем переехал в Ялту поближе к писателям, но Крым в тот раз не помог ему. В Ялте его настигла очередная болезнь, он долго лечился, отлёживался в Тарусе, при этом писал адресатам: *«Я по мальчишески мечтаю о Луаре, Франции, Париже...»*

В конце августа 1964 года ему организовали поездку в Англию, он колесил по Европе до ноября, чувствуя себя прекрасно, когда же вернулся на родину, снова загребел в больницу. Каждые полчаса в Москве у него менялось давление со всеми сердечными и астматическими последствиями. В октябре 1965 года Паустовский последний раз выехал в Европу: *«Жёлто-розовый Рим величав и прекрасен. Сейчас идём в Ватикан, в Сикстинскую капеллу... затем на Капри и в Венецию... едем до Неаполя в авто...»* В письме сыну: *«Алёша-балабоша... учи или французский, или английский язык, чтобы потом не чувствовать себя круглым идиотом, когда ты попадёшь в Европу...»* «Такой остров, как Капри, мог придумать только гений или Александр Грин... Остров для меня целебный — у меня совершенно исчезли боли...»

После поездок в Европу Паустовского стали обвинять в ослаблении чувства патриотизма, он оправдывался в «Ильинском омуте»: *«Нет! Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца»*. В другом очерке: *«Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара... Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на её скромных берегах я теперь часто и подогу живу...»*

Благодаря поездкам на юг и в Европу Паустовский прожил несколько дополнительных лет, — московский климат совсем не подходил ему. Как только писатель возвращался в Москву, здоровье рушилось: *«Я тотчас после Италии попал в больницу со спазмами головного сосуда (какая-то ишемия)... Ишемия — это потеря связной речи... врачи объясняют это резкой сменой климата... Но Италия стоит ишемии... По пути оставались в Вене... и Венеции... Боюсь только того, что мне запретят ездить, остальное всё чепуха...»*

Но время его путешествий заканчивалось, более всего он расстраивался именно из-за этого: *«Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени... Не успеешь оглянуться, как уже блёкнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты ещё не увидел и сотой доли того очарования, какое*

жизнь разбросала вокруг» («Ильинский омут»). Весну, лето, осень, зиму 1966 года и январь, февраль 1967-го он провёл в Ялте, затем вернулся в Москву и Тарусу, где окончательно слёг и почти уже не вставал с постели.

Во время приступов астмы Паустовский дышал как через тонкую трубочку, истрёпанное инфарктами сердце давало сбои, но ему надо было успеть проговорить свои главные, финальные мысли о любви к родине, о красоте мира. Его последний отделанный очерк, по-видимому, «Вилла Боргезе», где он пишет: *«В этих тяжких городах одиночество можно ощутить только глухой ночью... в страхе, что за тобой крадётся убийца и ты даже не знаешь, как в этой стране нужно позвать на помощь...»* Он чувствовал себя одиноким перед лицом приближающейся смерти, это она, конечно, была невидимо крадущейся убийцей. А нужно было ещё отвести обвинения в потере патриотизма, и он говорил о Западе: *«Какой странный и неприятный мир!»* («Вилла Боргезе») Но заканчивает он этот очерк всё-таки с благодарностью Богу за всё посланное: *«Нет, мир не страшен, а только, может быть, странен, и я благодарен ему за тысячи мелочей, дающих ощущение ясности и счастья...»*

Паустовский был умён и осторожен. Он искренне любил свою родину, русскую литературу, молодых читателей и писателей. Не желая сражаться открыто, он выбрал тихий путь сопротивления злу — не участвовать в политических гадостях, сохранить для России язык Бунина и Чехова, оставить после себя соответствующе воспитанных учеников. Как и Пастернак, Ахматова, Булгаков, Паустовский не подписал ни одного письма, осуждающего какого-либо писателя. Он помогал возвратиться в культурную жизнь России стихам и прозе Марины Цветаевой. Во время судебного процесса над Синявским и Даниэлем Паустовский вместе с Чуковским открыто выступил в их поддержку, предоставив суду положительные характеристики этих писателей. Незадолго до смерти тяжелобольной Паустовский направил письмо Косыгину с просьбой не увольнять главного режиссёра Театра на Таганке Ю.П. Любимова. В телефонном разговоре с Косыгиным Паустовский сказал: *«С вами говорит умирающий Паустовский. Я умоляю вас не губить культурные ценности нашей страны. Если вы снимете Любимова, распадётся театр, погибнет большое дело»*.

Да, Паустовский был мирным и добрым человеком, но для сохранения народной души такие люди необходимы. В некоторых ситуациях оставаться добрым и порядочным может лишь очень мужественный человек, ведь бывают времена, когда люди осатанело убивают друг друга из-за отличий в национальности, культуре, языке, образе мыслей. Такие писатели, как Паустовский, и сейчас помогают выжить тем, кто не желает участвовать в этом. Его оружием были доброта и порядочность. Об этом хорошо сказал Трифонов: *«Когда иссякает доброта — исчезает талант. У Константина Георгиевича шло его непрерывное нарастание, возвышение...»*.

Паустовский не сражался на политических баррикадах, не занимал чиновничьих постов, он лишь непоколебимо стоял на своём, говоря: *«Выражение самосознания широких народных масс через искусство — это процесс широкий, нельзя без вреда затиснуть его в узкие рамки...»*. *«Нужны настоящее содружество, работа, милые женские сердца и, наконец, природа. Без неё нельзя прожить ни одного дня, и я, главным образом, за то и не люблю Москву, что там вместо природы — слизь...»* (из письма Эйхлеру в январе 1937). Он самоотверженно работал, чтобы распространить своё влияние в письмах, очерках и рассказах: *«Положение моё просто трагическое. Очевидно, нужно, чтобы в сутках было 48 часов, только тогда я успею вовремя отвечать на письма и писать свои книги»* (из письма в июне 1961). *«Меня буквально разрывают на части,*

и дело дошло до того, что я должен скрываться от людей, чтобы писать свои книги» (июнь 1961).

Оглядываясь на него сейчас, понимаешь: Паустовский на фоне всех идеологических компаний 1950-х и 1960-х годов, делавших мир чёрно-белым, простеньким, оставался сложным, в нём не было оглушающей простоты. Эта сложность была во всём — в убеждениях, перемещениях, личной жизни. Судите сами: его отец был потомком Петра Сагайдачного, атамана запорожских казаков, одна бабка турчанка, другая — носительница польской католической культуры. Плюс у него было три жены... и я в молодости, например, никак не мог разобраться в хитро-сплетениях его личной жизни.

Так или иначе, Паустовский был и остаётся значимой частью моей жизни, я считаю его одним из своих учителей, продолжаю любить его. Этого человека вообще любят и помнят многие: в России создаются музеи Паустовского, проводятся конкурсы в его честь, празднуются его юбилеи. Когда в июле 1968 года он умер и его тело везли к тарусскому дому из московского Дома литераторов, уже за несколько километров от Тарусы вдоль обочины стояли люди с цветами и сосновыми ветками в руках, ждали своего Паустовского.

Нам и сейчас забывать его нельзя. В сегодняшней жизни слишком много бессмысленной ожесточённости, навязанного противостояния, стрельбы, смертей, крови. Быть добрым становится всё тяжелее — тебя за это могут объявить предателем. Спрятаться от жестокосердного мира можно в томике Толстого, Бунина или Паустовского. Пробежишь глазами страницу — и будто подышал ромашковым, луговым воздухом своей родины, а не дымом от разрывов снарядов, мин и ракет. Подумаешь иногда, что сказали бы Гоголь, Толстой, Бунин, Чехов, Паустовский о происходящем сегодня, — и только махнешь рукой, вытрешь глаза, озираясь на сочащийся кровью телевизор...

*Март-апрель 2022 года*